**Анализ обыденного языка: общая характеристика направления**

Блинов А.К.

В конце 20-х — начале 30-х годов в Англии сформировался тип философского анализа (впоследствии приписываемый позднему Витгенштейну), основной целью которого провозглашается анализ обыденных форм рассуждения. Он возник в противовес как традиционному техницизму философии, так и формализованному анализу в его феноменалистическом и физикалистском вариантах. Хотя этот тип анализа иногда применяется к специальным языкам математики и физики, однако его основным предметом является обыденный язык. Средством проведения этого анализа и формулировки его результатов также в основном является обыденный язык. И хотя представители этого типа анализа нередко пытаются выйти за пределы языка, чтобы осмыслить лежащие в его основе понятия, однако их внимание почти всегда направлено на общеупотребительные выражения.

Анализ обыденного языка и в терминах обыденного языка, конечно, не является чем-то новым в западной философии. Как отмечает Дж. Пассмор, мы встречаемся с ним уже в диалогах Сократа, а затем в различных «восстаниях» против технического жаргона уже установившихся школ, — восстаниях, связанных с именами Гоббса, Локка и Джеймса. Однако большинство этих восстаний против техницизма философии было поднято в знак протеста против техницизма одной отрасли философии и в интересах другой, так что все они вводили свою собственную техническую терминологию. Современный анализ обыденного языка отличается от своих предшественников тем, что он является протестом не против техницизма одной какой-то частной отрасли философии, а против самого техницизма в философии. Он выдвигается не в интересах какой-то частной отрасли философии, а в интересах изгнания путаницы из философии и облегчения понимания как самого мультиформного философского дискурса, так и собственных интроспекций посредством сравнительного изучения форм обыденной речи.

Если мы рассмотрим существующие представления о языке как об объекте осмысления и исследования, то увидим, что эти представления нетождественны в различных видах теорий языка. При этом на протяжении более двух тысяч лет европейской традиции исследований языка философские и эмпирические теории языка не имели строгого разграничения (например, диалог Платона "Кратил" считается лингвистами первым в Европе специальным сочинением по лингвистике), и лишь в последние два столетия различия в подходах оформляются в самостоятельные области исследования как в рамках философии, так и в позитивной науке.

Здесь мы попытаемся охарактеризовать несколько различных абстракций языка, используемых в различных видах теорий, и проследить их взаимодействия и трансформации в связи с развитием собственно теоретической философии.

Можно выделить несколько абстракций языка:

применяемая в логике;

в аналитической философии;

в филологии и герменевтике;

в структурализме;

семиотике;

в лингвистике.

1. К. Айдукевич писал о разных принципах идеализации языка, используемых логикой и лингвистикой. Согласно нему, главное различие между лингвистикой и логикой состоит в том, что предмет исследования в лингвистике — естественные языки, тогда как логика заинтересована формальными языками. Относительная простота языков, изучаемых логиками, позволяет им выяснять структуры этих языков более четко, чем это является достижимым для лингвистов, анализирующих исключительно сложные естественные языки. Ввиду того, что языки, изучаемые логиками, используют отношения, скопированные с естественных языков, логики способны внести существенный вклад в общую теорию языка. По всей вероятности, результаты анализа, предпринятого логиками, не могут быть применимы simpliciter к эмпирически данным естественным языкам, а их исследования, игнорирующие некоторые характерные особенности естественных языков, нуждаются в существенных исправлениях, если они претендуют на описание естественных языков. Ситуация здесь подобна той, которая имеет место в физике: физик также формулирует теоремы для идеально упрощенных случаев, которые не происходят в природе вообще — он формулирует законы для идеальных газов, идеальных жидкостей, говорит о движении при отсутствии трения и т.д. Для этих идеализированных случаев можно установить простые законы, которые значительно способствовали бы пониманию того, что происходит в действительности и что, вероятно, осталось бы неизвестным физике, если бы она пробовала рассматривать действительность непосредственно, во всей сложности. Поэтому языки, анализируемые логиками, могут быть рассмотрены как идеализация естественных языков[19] .

Итак, согласно такой точке зрения, репрезентативной по крайней мере для классической логики, можно сказать, что используемые в логике и в лингвистике абстракции языка различаются тем, что логика применяет метод идеализации, а лингвистика эмпирически описывает естественные языки, не используя идеализации.

2. Это различение, вероятно, может быть эксплицировано в качестве исходного допущения при философствовании "логикоморфном" — аналитическом. Чтобы оправдать отсутствие специальной информации о естественном языке как объекте исследования, в аналитической традиции объявляется объектом некий "обыденный язык", известный всем, в том числе и философам, для чего философ вынужден играть языковую роль "человека с улицы", коряво строящего предложения — во всяком случае, не заботящегося о стиле. Естественно, не все хотят играть эту роль, или, во всяком случае, играют ее по-разному, в результате чего абстракции обыденного языка не хватает очевидности: у каждого он разный — обращаясь к обыденному языку", исследователи неизбежно имеют дело не с чем иным, как с собственной языковой компетенцией. Для легитимации этого положения привлекается аргумент невозможности индивидуального языка (являющийся предметом одной из самых широких дискуссий в аналитической философии с 60-х годов по наши дни), но он не снимает факта нетождественности трактовки самого понятия "обыденный язык" в аналитической философии. К этому обыденному языку объявляются применимыми (пусть не всегда и/или с оговорками) правила, установленные для формальных языков. (Лингвистика на определенном этапе также не избежала этого соблазна, но уже с 50-х годов он оказался практически полностью отброшен.)

Аналитические теории коммуникационного намерения, концентрирующиеся на употреблении выражений в речевых ситуациях, также, как правило, разделяют эту абстракцию объекта.

3. Другое направление философских исследований языка — герменевтика — впадает в противоположную крайность, рассматривая в качестве своего объекта язык как не столько лингвистическую, сколько филологическую абстракцию, совокупность литературных текстов. Идеализация здесь носит характер не столько обобщения, сколько метафоры. Поэтому герменевтика остается на удалении от эмпирической теории языка, как и аналитическая философия. Наиболее важны здесь два принципа:

идея системности знака и ее методологические следствия — прежде всего отведение семантической роли синтагматическим отношениям в языке, признание зависимости значения знака от его окружения и внутренней формы;

семантическая релевантность интерпретации.

4. Еще одно направление исследований языка, которое может быть названо (с существнным скрипом) собственно философским — структурализм. Истоки этого философского течения находятся в методологии специальной теории языка — Соссюровой (восходящей в этом отношенгии к Лейбницу) лингвистики, согласно которой возможно вневременное квантитативное изучение системы языка, основанное на отношениях, а не на индивидуальности элементов или их материальности. Наиболее важные здесь принципы:

каждый элемент языка существует лишь в силу его отношений к другим элементам в составе системы; отношения в рамках системы доминируют над элементами;

подобно языку могут быть рассмотрены некоторые другие системы, действующие в человеческих обществах, – фольклор, обычаи и ритуалы, отношения родства и т.д., а в предельном смысле — вообще любые системы: все они могут изучаться, подобно языку, лингвистически, в частности формализоваться теми или иными точными способами (семиотика).

5. Специфика абстракции языка, используемой в семиотике, связана с акцентом на знаковой природе языка. При этом понимание языка как знаковой системы не свойственно исключительно семиотике; с этим согласны, вообще говоря, все теории языка. Но именно семиотика исходит из допущения о том, что все свойства языка могут быть объяснены через свойства знака. Можно сказать, что семиотика является не собственно философским, а самостоятельным направлением исследований именно в силу того, что в центре ее внимания находится знак как предмет, а не проблема значения.

Этим объясняется, например, то обстоятельство, что два основателя семиотики, философы Ч.С.Пирс и Ч.У.Моррис — мыслители во многом противоположные. В их подходах к проблеме значения обнаруживаются совершенно различные эпистемологические установки (неокантианская и бихевиористская соответственно), что не помешало Моррису принять за основу работы Пирса по знаковым системам при формировании семиотики как научной дисциплины.

6. С точки зрения методологии лингвистики ее трактовка как эмпирической дисциплины (например, в подходе Айдукевича, с которого мы начали рассмотрение), не использующей идеализации, оказывается недостаточной. Правомернее, видимо, говорить здесь об используемом в лингвистике ином типе абстракции — использующем при идеализации достаточно сложные принципы: системный и процессуальный.

Лингвистическая абстракция не представляет собой единого целого, разделяясь как минимум надвое в соответствии с усмотренной Гумбольдтом дистинкцией между таким представлением языка, согласно которому индивидуальные речевые акты являются окказиональными проявлениями устойчивой нормы, и таким, согласно которому язык является созидающим процессом, осуществляющимся в ходе порождения текста. В соответствии с этим существующие подходы к анализу природы значения могут быть распределены в зависимости от их отношения к трактовке языка как знаковой системы. Одно и то же синхронное явление в языке может рассматриваться с двух точек зрения:

статически, когда мы констатируем само наличие этого явления и его собственные отличительные признаки;

процессуально, когда мы стремимся определить, в результате какого процесса оно возникает или же преобразованием какой единицы (или единиц) может считаться.

В одном случае мы рассматриваем анализируемое явление как непосредственную данность, в другом — как данность, выводимую из неких единиц, принимаемых за исходные, и как следствие определенных операций, с ними совершаемых; нашей целью оказывается описание динамики возникновения единицы, или же ее динамическое представление.

В первом случае знак рассматривается как элемент статической системы. При этом его определяют как двуединую сущность, имеющую план выражения (означающее) и план содержания (означаемое), где означающее — феноменальный, чувственно воспринимаемый объект, который символически представляет и условно отсылает к обозначаемому им предмету (явлению, свойству, отношению).

Во втором случае знак может быть рассмотрен как элемент динамической системы — процесса передачи информации. Такие модели учитывают, с одной стороны, актуализацию значения в процессе коммуникации, с другой — изменения в значении языковых единиц в связи с изменениями, которые претерпевают обозначаемые реалии во внешнем мире и с тем, как эти изменения трансформируются в сознании носителя языка и языкового сообщества. В этом случае в языковом знаке обнаруживаются три плана: план выражения и план содержания, соотношение которых может определяться так же, как в предыдущем случае, а также план интерпретации сообщения реципиентом[20] . В соответствии с этим в структуре знака выделяются не два, а три, четыре, пять и более компонентов.

Различие указанных подходов может быть рассмотрено в связи с разными эпистемологическими парадигмами, поскольку оно отражает отказ от характерного для репрезентационизма статичного подхода к исследованию знания. Для теорий языка это может означать, что внимание методологии переключается с проблемы обоснования языкового знания (т.е. проблемы философской) на проблему строения и развития самой теории. Является ли такое следствие единственным? Для ответа на этот вопрос надо проследить последовательность трансформаций статико-динамической контроверзы в связи с развитием эпистемологии.

Противопоставление динамических и статических моделей характерно для различия между двумя важнейшими традициями теорий языка в древнем мире — индийской и греческой[21] . В то время как в античной грамматике господствовал принцип, который можно было бы назвать принципом целостного образца (а холистическими образцами являлись не только парадигмы, но и составляющие их отдельные нерасчлененные формы), у древнеиндийских грамматистов любые составные единицы констатировались образующим их правилом. Но само противопоставление динамических моделей статическим могло найти свое теоретическое обоснование лишь после того, как сосуществование динамического и статического начал было признано сущностным свойством языка как такового.

От Платона до Гумбольдта теории языка не разделялись на философию языка и лингвистику. С классической древности до конца XVIII в. лингвистика не была отделена от логики и ее предметом (как части тогдашней логики и философии) считались единые общечеловеческие способы выражения мысли. Обособление лингвистики произошло в XIX в. и связано с выработкой эволюционного взгляда на язык, позволившего идентифицировать предмет лингвистики — различные языки в их истории — как самостоятельный предмет, отличный от предмета любой другой науки.

В ходе развития лингвистических учений можно выделить следующие главные направления, последовательно сменявшие друг друга в качестве доминирующих: логическое, сравнительно-историческое, структурное и конструктивное. Первое из них в равной степени принадлежит собственно философии (период с V в. до н. э. по начало XIX в.). При этом, поскольку теории языка разрабатывались философами, то они, как правило, входят в их общефилософские системы и связаны с метафизическими и эпистемологическими установками; последние же зависят от идей времени.

Когда Декарт повторно ввел главные темы античности в представлении сущностного разделения сознания и тела, эпистемологически основной среди них оказался репрезентационизм (опора на представление). Согласно этому принципу, ментальные объекты представляют вещи внешнего по отношению к сознанию мира, а мышление подразумевает манипуляцию этими представлениями. Такой последовательный дуализм породил серьезные проблемы. Важным следствием из картезианской доктрины стал репрезентационистский скептицизм: представления не имеют никакой необходимой связи с представленной вещью.

Соответственно, анализ отношения языка к внешнему миру в "логическом" направлении исходит из допущения о том, что наше знание, выражаемое средствами языка, есть знание о внешнем мире, трансцендентном по отношению к этому знанию и языку. Отношение языка к сознанию играет в здесь подчиненную роль: от "лектона" стоиков до "знака" Локка (и, с определенными оговорками, вплоть до многих современных вариантов "денотации" и "референции" или "интенциональности") элементы языка полагаются аналогами элементов сознания, заключающего о внешнем мире. Анализ языка выступает на этом этапе одним из средств логики; язык рассматривается как средство формирования и выражения мысли. Отсюда следует отождествление логических и языковых категорий, восходящее к Аристотелю и наиболее полно воплощенное в картезианских грамматиках. Язык рассматривается лишь с точки зрения его функционирования как данная и неизменная система средств общения и выражения мысли.

Заложенное Декартом различение естественных наук и философии было реализовано только с Кантом. Постановка вопроса об отделении философии от науки стала возможной благодаря представлению, согласно которому главной областью философии является "теория познания", или эпистемология — теория, отличная от наук, потому что она была их основанием. Отвечая на вызов Юма, Кант определил то направление исследований, согласно которому в центре находится вопрос не о том, познаваем ли мир, а о том, каким образом возможно, как возникает и организуется наше знание. Таким образом Кант трансформировал старое представление философии — метафизики как "царицы наук" (поскольку она занималась тем, что наиболее универсально и наименее материально) — в понятие "наиболее базисной" дисциплины — дисциплины оснований[22] .

Важнейшую роль здесь приобрела Кантова идея формирования опыта, относящегося к несинтезированной интуиции так же, как форма к содержанию. Разум признается активным на всем протяжении процесса познания: "опыт сам есть вид познания, требующий участия рассудка, правила которого я должен предполагать в себе еще до того, как мне даны предметы, стало быть, a priori "[23] . Активность идей разума основана на представлении, определяющем нечто в отношении данных опыта до того, как они даны: мы можем знать объекты только в том случае, если мы их "учреждаем", или конституируем, как стали впоследствии говорить неокантианцы.

Подобные представления переносятся на область языка И. Гердером и В. фон Гумбольдтом, которые подчеркнули, что язык есть прежде всего "созидающий процесс", а не только результат этого процесса. Положение Гумбольдта о том, что язык есть не продукт деятельности ( ergon ), а сама деятельность ( energeia ), было направлено против представлений о языке как о механизме и имело своей целью привлечь исследователей к изучению творческого характера этой деятельности. Гумбольдт рассматривал каждый язык как самодовлеющую систему, не готовую, а вечно и непрерывно создаваемую, как деятельность, выражающую "глубинный дух народа".

Одним из важнейших следствий такого подхода оказалось осознание того факта, что каждый язык имеет свои особенности, отличающие его от других языков, и эти особенности познаются в сравнении. Это привело к возникновению сравнительно-исторического языкознания (радикальным вариантом которого стало психологическое направление, отрицающее какие-либо существенные связи с логикой), а в дальнейшем структурной лингвистики, редуцировавшей представления о языковых универсалиях до минимума и акцентировавшей внимание на описании наблюдаемых в языке форм с целью вывода частных категории и классов для каждого конкретного языка.

Другим важным следствием динамического подхода стало усвоение системных представлений, согласно которым подлинной и основной реальностью выступает не отдельный факт какого-либо языка, а язык как система, каждый элемент которой существует лишь в силу его отношений к другим элементам в составе системы. Эти представления стали основополагающими для идентификации лингвистики как научной дисциплины, а наиболее последовательное их развитие приводит к формированию холистических представлений.

Соответственно, по-иному стали изучаться связи языка с коллективным и индивидуальным сознанием. Герменевтика, сложившаяся как общая теория интерпретации, впоследствии трансформируется в собственно философское учение средствами феноменологии: сознание понимается как поле значений, открытых для интерпретации, и это поле имеет выраженно системный характер. Поэтому герменевтика сегодня находит множество точек соприкосновения, в том числе и методологических, с семиотикой, развивающейся без особых контактов с аналитической философией, но смыкающейся с лингвистикой и более широкими структуралистскими исследованиями.

Согласно Н.Гудмену, вообще не существует такой вещи, как неструктурированные, абсолютно непосредственные сенсорные "данные", свободные от классификации. Все восприятие определено выбором и классификацией, в свою очередь сформированными совокупностью унаследованных и приобретенных различными путями ограничений и преференций. Даже феноменальные утверждения, подразумевающие описание наименее опосредованных ощущений, не свободны от таких формообразующих влияний.

Согласно Гудмену, действительность не скрыта от нас. Однако систематически постигать ее можно не только одним способом, но множеством способов. Конечно, существуют системы, не согласующиеся с нашим опытом; но вместе с тем имеется и множество различных систем, которые "соответствуют" ( fit ) миру, причем некоторые из них представляют собой полностью равнозначные альтернативы.

По замечанию Г. Кюнга, "современная аналитическая философия по большей части просто пользовалась следствиями из открытия Гудмена"[24] . Однако еще одним источником критики "картезианского мифа" стала программа логического анализа языка, в которой вопросы о содержании сознания и о возможности познания связывались с вопросом о правилах языка.

Важные для нас идеи здесь могут быть описаны следующим образом. Если истина — соответствие мысли своему объекту, то мы не в состоянии истинно помыслить нечто без отсылки к миру, внешнему по отношению к сознанию. Вопрос о том, каким образом мы можем помыслить что-либо, означает в этом случае вопрос о том, каким образом мы можем помыслить что-либо, трансцендентное содержанию сознания. Следовательно, с репрезентационистской точки зрения мы не в состоянии заключать об вещи, помысленной самой по себе, вне зависимости от ее отношения к сознанию. По различению Д.Ф.Пирса, язык, знак которого функционирует по такому принципу истинности, будет феноменалистским языком - в противовес феноменологическому языку, не ставящему вопроса о наличии у предмета мысли самостоятельного бытия, не зависящего от человеческого мышления.

Язык, о котором идет речь в "Трактате" Витгенштейна, является феноменологическим в наиболее общем смысле, полагающем, что язык имеет дело с некоторыми данностями, "объектами знакомства", но не касающемся их онтологического статуса. Впоследствии Витгенштейн отказывается от своей программы перевода фактуальных предложений на феноменологический язык, поскольку, во-первых, вообще отказывается от идеи перевода на некоторый базовый язык, а во-вторых, его внимание привлекает идея феноменалистского языка — чисто сенсорного, фиксирующего эмпирические ощущения языка, заключающего о независимых объектах. Именно от такого типа языка он впоследствии отказывается как от невозможного в "Философских исследованиях". Таким образом, эволюция, проделанная сторонниками логического анализа языка вместе с Витгенштейном — это путь к различным вариантам абстракции "обыденного языка", интерпретируемой с различной степенью физикализма.

На первый план в философии языка окончательно выходит проблема значения, и именно этот факт объединяет ее с логикой, но он же и предоставляет философии языка самостоятельную, ни к чему не редуцируемую концептуальную область, в которой впоследствии располагаются прагматические, бихевиористские, аналитические теории значения, являющиеся следствиями из концепции значения как употребления.

После "Философских исследований" считается общепризнанным, что значение слов определено как дискурсом, так и ситуацией, что предложения могут иметь больше чем одно значение, и т.д.

Источником значения в таких теориях традиционно признается конвенция, фактически действующая между членами языкового сообщества. Попытки связать понятие конвенции с конкретным языковым материалом делались при обсуждении гипотезы Сепира — Уорфа. Вместе с тем такие каузальные теории референции, как подход Крипке — Патнэма, существенно расширяют пределы конвенции, моделируя событие ее заключения ("церемония первого крещения", "предъявление образца"). Этот подход реализуется в ряде "расширенных" ( broad ) теорий референции (С. Крипке, Х. Патнэм, К. Доннелан, Р. Бойд, Г. Эванс и др.; см. §§ 10.4.2 — 10.4.4), использующих семантику возможных миров и другие технические средства для придания теории референции некоторого социокультурного измерения. Анализ таких теорий показывает, что используемые в них представления о репрезентации обладают существенными отличиями от "классического" репрезентационизма: репрезентация в них предстает так или иначе опосредованной[25] .

Конструктивные модели языка идут еще дальше, помещая в центр своего внимания даже не факт, а процесс установления связи между знаком и его референтом и полагая этот процесс интендированием, или конституированием. При таком подходе сам избранный для каждой знаковой системы способ идентификации индивидов порождает тот факт, что индивиды имеются в наличии, и определяет, каких и сколько индивидов мы обнаруживаем. В этом смысле Гудмен говорит, например, что мы "делаем" звезды, используя язык со словом "звезда" и таким образом "делая" звезды релевантными для нашей языковой системы единицами. "Мы создаем звезды в том же отношении, что мы создаем созвездия, соединяя их части и разграничивая их пределы"[26] .

Н. Хомским была предпринята попытка реализовать в специальной лингвистической теории конструктивные методологические принципы, почерпнутые у Куайна и Гудмена. В инициированном таким образом генеративном направлении понятие трансформации играет в модели описания языка центральную роль. Трансформация понимается прежде всего как констатация структурных отношений между парой конструкций, при которой сами эти отношения рассматриваются как если бы они были процессуальными ( as though it were a process ). Лингвистическая интерпретация процесса интендирования референта будет выглядеть здесь следующим образом. Ясно, что констатация подобных структурных отношений может быть процессуальной лишь тогда, когда трансформационное правило фиксирует все операции, необходимые для превращения одной конструкции в другую. Тогда, если признать трансформацию частью деривационного процесса, лингвистическая сущность которого состоит в последовательном изменении значения через последовательные изменения формы, то трансформационное правило не может быть исключительно правилом формального или структурного преобразования одних единиц в другие и должно соотносить эти последние с наступающими изменениями в значении.

Итак, развитие философии языка может быть рассмотрено как связанное с различением репрезентационистской и конструктивистской установок.

Поскольку Декарт радикально отделил идеи, составляющие содержание сознания, от внешнего мира, трансцендентного по отношению к этим идеям, постольку спор о возможности познания действительности, начиная с Декарта и кончая Х I Х – ХХ веками, носил отпечаток парадигматической противопоставленности реализма и анти-реализма. Вопрос формулировался так: познаем ли мы только наши собственные идеи, "образы" вещей или мы можем заключать о существовании и даже свойствах внешнего мира, скрытого "позади наших идей? Главных позиций было три:

а) реализм: существует независимый от человеческого сознания внешний мир, и мы можем раскрывать его существование и его устройство;

б) позиция Канта: существует "вещь в себе", но она, будучи таковой, для нас непознаваема;

в) анти-реализм: допущение действительности, существующей независимо от нашего сознания, бессмысленно.

Ядро, общее для всех трех позиций, заключалось в убеждении, что мы можем непосредственно познавать лишь нас самих и наши собственные идеи. Это значит, что если вообще и имеется существующая "сама по себе" действительность, то она доступна не прямо, а лишь косвенно, через посредство причинного умозаключения.

Сегодня философы-профессионалы как феноменологического, так и аналитического толка называют подобное фундаментальное убеждение "картезианским репрезентационизмом", который, по мнению Г.Кюнга, практически повсеместно отброшен[27] . Для философии языка это означает признание недостаточности традиционного, наиболее общего не только для логикоморфного подхода допущения о том, что мы имеем дело с языковыми выражениями таким образом, что они указывают нам на определенные положения дел, события, факты, ситуации, независимые от самих языковых выражений и являющиеся "данными" заранее.

Этой парадигме противостоит конструктивистская, для которой характерны отклонение понятия "данного", отказ от проведения различия между восприятием и осмыслением (и, следовательно, от всех такого рода подходов к дихотомии наблюдения/теории для науки), отказ от априорности в пользу измененного взгляда на последовательность обоснования, акцент на прагматических соображениях в выборе теории и т.д.

Правильность последовательности обоснования может пониматься какправильность алгоритмаи какправильность усмотрения. Смыслы могут быть конституированы правильно в том отношении, что последовательность шагов, необходимых для выполнения этой операции, может быть задана для воспроизведения. Истинное воспроизведение смысла здесь есть описание процедуры его построения; в простейшем случае такая процедура состоит из одного шага.

Соответствующее эпистемологическое допущение является, возможно, одним из важнейших следствий "лингвистического поворота" в философии ХХ века. Так, согласно Рорти, обоснованность чьих-либо убеждений нельзя определить, исследуя отношения между идеями и их объектами. Обоснованность убеждений — социальный процесс, многоаспектный процесс коммуникации, посредством которого мы пробуем убедить друг друга в том, что мы полагаем. Мы понимаем природу знания, когда мы понимаем, какое значение знание имеет для обоснования наших убеждений, а не для все более и более точного представления действительности.

Отсюда становится ясной эпистемологическая значимость конструктивных систем для обоснования употребления языка. Она состоит прежде всего в выявлении совокупности взаимоотношений между различными частями концептуального аппарата. Фундаменталистская репрезентационистская метафора заменена в них Куайновой "сетью полаганий" (" web of belief "). После установления общей связности и внутренней непротиворечивости системы следующим этапом является выявление согласуемости различных систем, т. е., применительно к лингвистическим ситуациям, интерсубъективной аутентичности значений, возможности одинаковой идентификации референтов всеми членами языкового сообщества[28] . В этом смысле обладать знанием о предмете означает иметь возможность дать то или иное его описание, позволяя нам считать знание, говоря словами Джеймса, тем, "что лучше может быть полагаемым", но не "точной репрезентацией реальности". Философия языка, таким образом, предоставляет наиболее непосредственные основания для общефилософских построений.

Итак, взаимные влияния различных абстракций языка, используемых в различных видах теорий, оказываются взаимно плодотворными. Но наиболее продуктивным среди них, как представляется, стало влияние динамических представлений. Взаимоотношения лингвистической и философских абстракций проходят как бы два витка. Кантовский синтез и поэтические интуиции Гумбольдта сформировали лингвистическую абстракцию, которая оказала влияние на все остальные, чтобы затем вновь испытать влияние философской абстракции уже по новым, конструктивистским основаниям. При этом философская абстракция языка оказывается неразрывно связана с основными темами и движениями философии в целом.

Более конкретно, на ранние стадии традиционно рассматриваемого в рамках АФ анализа обыденного языка глубокое влияние оказала философия Дж. Э. Мура, особенно его учение о здравом смысле, согласно которому такие понятия, как «человек», «мир», «я», «внешний мир», «знать» и «воспринимать», необходимо брать в их обычном смысле. Собственно говоря, некоторые ранние работы Мура не менее замечательны примененными в них методами анализа обыденного языка, чем их реалистскими выводами. Мы уже упоминали об этом выше; теперь же рассмотрение анализа обыденного языка мы начнем, как это стало традицией, с Витгенштейна.

Согласно Витгенштейну, философия не имеет своего особого объекта, и поэтому, выполнив свою разъясняющую миссию, она должна уступить дорогу эмпирическому наблюдению. «Правильным методом философии был бы следующий: не говорить ничего, кроме того, что может быть сказано, следовательно, кроме предложений естествознания, то есть того, что не имеет ничего общего с философией, и затем всегда, когда кто-нибудь захочет сказать нечто метафизическое, показать ему, что он не дал никакого значения некоторым знакам в своих предложениях». (Руководствуясь этим принципом, следовало бы отбросить большинство утверждений самого Витгенштейна. «Тот, кто меня понял, в конце концов уясняет бессмысленность утверждений, если он поднялся с их помощью - на них - выше их. (Он должен, так сказать, отбросить лестницу, после того как он взберется по ней наверх .)»).

«Он должен преодолеть эти предложения, лишь тогда он правильно увидит мир.

О чем невозможно говорить, о том следует молчать ».

«То, что вообще может быть сказано, может быть сказано ясно, а о чем невозможно говорить, о том следует молчать».

На более позднем этапе взгляды Витгенштейна (как они изложены в его книгах «Замечания по основаниям математики» и «Философские исследования») сохранили некоторые черты, характерные для «Трактата». Например, как в «Трактате», так и в сочинениях позднего периода Витгенштейн отрицает универсалии, духовные сущности, типы, логические константы, бесконечные множества, дихотомию души и тела и все подобные логические и метафизические аксессуары он предпочитает объекты, конкретные факты, действительно встречающиеся логические структуры и формы поведения. Однако в последних произведениях понимание Витгенштейном функций обыденного языка, задач философии и природы значения существенно отличается от изложения этих проблем в «Трактате»; и именно эти его поздние взгляды оказали особое влияние на формирование современного анализа обыденного языка.

Как в «Трактате», так и в поздних сочинениях Витгенштейн всецело признает чрезвычайную сложность обыденного языка. Однако его отношение к этой сложности было на разных этапах совершенно различным. В «Трактате» Витгенштейн из сложности обыденного языка делал вывод о необходимости выявления структуры обыденного языка в совер шенном языке, в котором все сложные высказывания с помощью тавтологий сводились бы к элементарным высказываниям, отображающим атомарные факты. В последних работах он приходит к мысли о том, что попытка построения такого совершенного языка является бесполезной и ошибочной, и предпочитает бороться со сложностями обыденного языка путем отдельных прямых атак на конкретные проблемы в терминах обыденного языка, на котором в конечном счете должно выражаться любое объяснение. Поэтому, «когда я хочу говорить о языке... я должен говорить на языке повседневной жизни. Не является ли этот язык слишком грубым и материальным для выражения того, что мы хотим сказать? Если да, то как можно построить какой-либо другой язык? .. Философия никоим образом не должна вмешиваться в фактическое употребление языка; она в конечном счете может только описывать его». Тот вид анализа, который разлагает высказывания на простые элементы, для некоторых целей может оказаться полезным, однако это не должно побуждать нас думать, что «разложенная форма» является «более основательной формой», чем неразложенная, поскольку «можно представить себе людей, имеющих имена для... сочетаний цветов, но не для отдельных цветов». В действительности атомарные факты ни в коем случае не являются изолируемыми и соответствующие им элементарные предложения на самом деле невозможно выделить. «Вообще не имеет смысла безусловно говорить о неразложимых элементах стула», и является что-либо сложным или нет - зависит от «конкретной языковой игры, в которой мы участвуем». Чистые тавтологии вряд ли имеют какое-либо фактическое употребление в языке; и хотя высказывания математики отличаются от обыденных фактических высказываний, они также отличаются друг от друга и вплетены в множество разнообразных языковых форм. Что же касается языка в целом, то следует сказать, что он не предназначен для единственной цели отображения действительности или для высказываний о том, «как обстоят дела», но является средством осуществления разнообразных потребностей человеческого организма. Он больше похож на ящик с инструментами, чем на фотопленку. В число образующих его языковых игр входят, между прочим, «отдача приказаний и повиновение им, описание явлений какого-либо объекта или измерение последнего, построение объекта по его описанию... сообщение о событиях, размышление о событиях, формулирование и проверка гипотез, представление результатов эксперимента в таблицах и диаграммах, сочинение рассказа и чтение его, актерская игра, решение арифметической задачи, перевод с одного языка на другой, вопросы, благодарности, ругательства, приветствия, молитвы». Невозможно найти общий признак всех языковых игр. Такие игры перекрещиваются друг с другом всевозможными способами. Они образуют семейство, а не индивид, и связываются друг с другом благодаря частичному пересечению, а не однородности. Исследование языка поэтому представляет собой не единообразную логическую процедуру, а разностороннее размышление над фактическим языковым опытом, в каждом конкретном случае приспособленное к рассматриваемой языковой игре.

Изменение, происшедшее во взглядах позднего Витгенштейна на функции обыденного языка, привело к изменению его взглядов на сущность и задачи философии. Витгенштейн пришел к выводу, что вопреки его ранним взглядам философские проблемы являются не прямыми результатами сложности обыденного языка, а результатами особого подхода к языку. Философских проблем не возникает до тех пор, пока язык используют обычным образом. Так, например, в обычном рассуждении мы не встречаем трудностей при связывании имен и вещей, но, как только «философ начинает выявлять само отношение между именем и вещью, уставившись на находящийся перед ним объект и повторяя его название... бесчисленное количество раз», именование начинает казаться странным занятием. Таким образом, «философские проблемы возникают тогда, когда язык бездельничает ". Они встают тогда, «когда язык работает вхолостую, а не тогда, когда он по-настоящему работает». В силу этого здравая философия наших дней, имея дело с проблемами традиционной философии, не должна ни «показывать, что тот или иной конкретный вопрос недопустим, ни отвечать на него»; она должна пока зать, как, собственно, можно избежать традиционных философских голо воломок. Тем самым философия становится «борьбой с околдовыванием нашего разума при помощи языка». Ее задача - «вернуть слова от их метафизического к их обыденному употреблению» «показать мухе выход из мухоловки». Философ, подобно врачу, который стремится «вылечить нас от болезни», должен вначале «излечить себя от многих слабостей понимания, прежде чем он сможе прийти к понятиям здравого человеческого понимания».

В «Трактате» Витгенштейн отождествлял значение элементарного термина с наименованным им объектом, впоследствии же он с особой энергией выступил против этой точки зрения и стал четко различать носителя и значение имени. Поэтому, например, «в случае смерти г-на Г. М. говорят о кончине носителя имени, а не о кончине значения». Ни один термин ничего не означает вне общего контекста более или менее устоявшихся языковых привычек и конкретных обстоятельств речевого акта. Осмысленные выражения не возникают внезапно или изолированно: они зависят от обучения в конкретном социальном окружении и от формирования обычаев. Ни именование, ни значение не должны быть абсолютно точными, и определенная степень неясности часто является полезной. Значением термина не является ни особого рода идеально сущий объект, ни образ, ни ощущение в сознании . Образы часто входят в значение, но образы, ощущения и другие «внутренние состояния» могут изменяться независимо от значения. Конечно, можно вычислять в уме но обычно люди сначала научаются делать это на бумаге.

Очевидно, правила языка оказывают существенное влияние на значение терминов, но даже эти правила не составляют и не выявляют с необходимостью значение термина. Можно хорошо знать правила и даже наблюдать за человеком, указывающим на конкретный пример означаемого, не схватывая, однако, того, что означается.

На самом же деле значение термина большей частью определяется его употреблением, или, еще точнее, употребление термина более важно, чем его значение. Если, например, кто-нибудь говорит «я здесь», мы должны поставить вопрос: «Как, при каких обстоятельствах употребляется это предложение?» Такой вопрос достаточен для устранения сомнительных сторон высказываний и ставит языковое исследование в нормальные условия. Чтобы понять предложение, надо спросить: «При каких конкретных обстоятельствах фактически употребляется это предложение?» Для очень большого класса случаев достаточное определение значения дается следующей формулировкой: «Значением выражения является его употребление в языке». Для нас термин приобретает значение тогда, когда мы узнаем об его употреблении в языке, а когда мы забываем об употреблении термина, тогда он «теряет для нас свое значение» .

Выражения, относящиеся к познанию, как и большинство других осмысленных выражений, нельзя свести к одному простому образцу; они имеют очень разнообразные употребления. Сейчас мы вкратце остановимся на немногочисленных замечаниях Витгенштейна относительно некоторых наиболее важных употреблений ряда этих терминов, включая и термины, связанные с пониманием слов, ощущением, видением и предсказанием.

Так как значение в основном определяется употреблением, то критерием познания или подходом к познанию, состоящему в понимании словесных выражений, является умение применять данное выражение. Так, например, критерием понимания математического ряда является способность «продолжить» этот ряд. Понимание слова, конечно, совместимо с некоторыми сомнениями относительно применения этого слова, и никакие правила словоупотребления не могут гарантировать понимания. Правила являются вспомогательными знаками. Прежде чем понять, «что означает следование правилу», нужно сначала научиться «следовать правилу».

Познание, связанное с логикой, как было замечено в «Трактате», определяется употреблением языка. Важность этого вида познания такова, что многие склонны думать, будто логика является чем-то высшим, и склонны считать ее предмет чем-то таким, «что не лежит на поверхности» , а занимает «чисто промежуточное положение между пропозициональными знаками и фактами». Однако действительная значимость логики не связана с такой возвышенностью ее предмета. «Мы должны придерживаться предмета нашего повседневного мышления». Понятия, с которыми имеет дело логика, имеют такое же скромное употребление, как и употребление слов «стол», «лампа», «дверь». Однако нецелесообразно предпринимать попытки (как это было сделано в «Трактате») формализовать логику, поскольку в любом случае нужно учиться употреблению получившихся форм. Логические структуры, конечно, коренятся в языке, но они ни в коем случае не являются такими жесткими или простыми, как это предполагалось в «Трактате».

Математика не просто входит вместе с логикой в обширный класс тавтологий (как это было в «Трактате »); ее следует отличать от логики. Она, как и логика, коренится в языке, но не отождествляется с логикой и не выводится из нее. Логические доказательства являются общими, тогда как математические - особенными. Конечно, математические доказательства не являются фактическими, но они и не являются логическими. Они имеют свой специфический характер, который нелегко описать. Сомнительно, можно ли вообще говорить о существовании доказательств относительно тех членов ряда, к которым непосредственно не применялись и не могут быть тут же применены операции, входящие в рассматриваемое доказательство ; вряд ли имеет смысл говорить, что даже бог знает ответ на эти вопросы. Вычисление не должно быть неизменным, однако когда оно становится совершенно беспорядочным, то нельзя больше говорить о вычислении. Математика, как и логика, не говорит ничего содержательного о мире. Если вы знаете результаты вычислений, «то нельзя сказать, что вы что-то знаете», так как «математическое предложение дает лишь некие рамки описания». При других условиях были бы возможны другие математические и понятийные системы, существенно отличающиеся от общепринятых. Правильность математического предложения неявно содержится в символах, однако оправдание системы символов заключено не в самих символах, а в чем-то отличном от них.

Хотя ощущения человека могут играть существенную роль в его познании, сами ощущения не являются примерами познания. Причина этого не в том, что ощущений не существует, а просто в том факте, что в терминах нашего языка мы вряд ли можем разумно говорить о познании своих собственных ощущений. «Нельзя сказать обо мне, что я знаю, что мне больно», и «обо мне нельзя сказать, что я приобретаю знание о своих собственных ощущениях». «Я имею их». Попытка «изучить головную боль, от которой я страдаю в данный момент», не проливает никакого света на «философскую проблему ощущений».

Мы приобретаем знание об употреблении терминов, обозначающих боль и другие ощущения, на основе внешних проявлений этих ощущений. При отсутствии этих внешних проявлений вообще нельзя было бы говорить о боли и других ощущениях. Даже если кто-либо частным образом придумает себе нечто похожее на название для своих индивидуальных ощущений боли, применение этих названий не будет иметь «никакого критерия правильности». Посредством внешних признаков боли другие люди часто могут узнать, что мне больно; то же самое могу узнать и я о других людях.

То, что обычно называется видением, включает в себя два совершенно отличных друг от друга употребления термина «видеть». Это отчетливо проявляется, например, в двух следующих высказываниях: «я вижу это» (сопровождая эти слова рисунком) и «я вижу сходство между этими двумя лицами». Второе из этих употреблений имеет дело с тем, что можно назвать «видеть как ...». Например, рисунок определенного вида можно видеть либо как «стеклянный куб... либо как перевернутый открытый ящик... либо как проволочный каркас... либо как три доски, образующие пространственный угол» ; другой рисунок можно видеть либо как кролика, либо как утку; третий - либо как клин, либо как геометрическую фигуру, либо как треугольное отверстие; четвертый - либо как перевернутую, либо как неперевернутую лестницу; пятый - как белый крест, как черный крест или как двойной крест. Поскольку во всех этих примерах «видения как ...» рисунки оставались неизменными, а менялся лишь способ рассмотрения, постольку возникает искушение усматривать в «видении как ...» интерпретацию. Но «видеть как ...» отличается от интерпретации тем, что оно не допускает ни ошибки, ни проверки.

То, что относится к возможным будущим фактам, таким, например, как «эта книга упадет на землю, если я ее выпущу »... или «если я суну руку в огонь, то она обгорит», может познаваться нами с «уверенностью», и подобная уверенность в достаточной степени оправдывается своей успешностью. Не нужно даже ссылаться на то, что подобные опыты часто имели место в прошлом, «и то, что перед нами стул, мы не выводим из чувственных данных». Но если потребуются основания для уверенности, что нечто произойдет в будущем, то высказывание о том, что определенное событие имело место в прошлом, «мы как раз и назовем основанием для утверждения о том, что оно будет иметь место и в будущему. Не следует только говорить, что такое основание «придает появлению события определенную вероятность», так как «сказать, что это основание придает событию определенную вероятность,- это значит ничего не сказать, кроме того, что это основание соответствует определенному стандарту достаточных оснований,- но ведь сам этот стандарт не имеет оснований».

Джон Уиздом из Кембриджа и Гилберт Райл из Оксфорда, подобно Витгенштейну, в ранний период своей деятельности придерживались других философских воззрений (тех или иных разновидностей логического атомизма) и только впоследствии вопреки этим воззрениям пришли к анализу обыденного языка.

[19] Ajdukiewicz K. O zwiazkach skladniowych miedzy czlonami zdan oznajmujacych. – In: Ajdukiewicz K. Jezyk i poznanie. Vol . II . Warszawa , 1965. S .344.

[20] Моррис Ч. У. Основания теории знаков. — В кн.: Семиотика. М., "Радуга", 1983.

[21] Блумфилд Л. Язык. М., "Наука", 1968. С.24-26, 561-562.

[22] Рорти Р. Философия и зеркало природы. Новосибирск, 1997. С.97-100.

[23] Кант И. Предисловие ко второму изданию "Критики чистого разума". — Соч. в 6 тт. Т . 3. М ., 1964. С . 88.

[24] Кюнг Г. Когнитивные науки на историческом фоне. — Вопросы философии №1, 1992. С.49.

[25] Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., "Эдиториал УРСС", 1998. С. 112-132.

[26] Goodman N. On starmaking. — In: On Mind and Other Matters. Cambridge Mass ., 1984. Р.42.

[27] Кюнг Г. Когнитивные науки на историческом фоне. С.47.

[28] Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. С. 96-103.